

Гайдар Аркадий Петрович

Пути-дороги

Аркадий Гайдар

Пути-дороги

Два года назад отдыхал я в Гаграх, на кавказском побережье Черного моря.

Восхищался сначала горными пейзажами, лазал по ущельям или целыми днями валялся в тени финиковых пальм и роскошных платанов.

Но потом осточертело мне море, надоели мне пальмы и надоела солнечная лень. Довез меня пароход до Сочи, а оттуда я прямо на станцию к кассиру.

- Сколько, - говорю, - уважаемый товарищ, билет до Москвы стоит?

Сказал он. Гляжу - по деньгам не подходит.

- Сколько тогда, - говорю, - дорогой товарищ, до Ростова?

Гляжу - излишек остается.

И так я спрашивал его еще про несколько городов, потому что ехать мне было все равно куда. И каждый раз он отвечал вежливо, не то что кассиры на наших станциях, хотя, может быть, это и потому, что больше, кроме меня, пассажиров что-то не видно было и скучно ему, кассиру, было сидеть у окошка.

Но наконец то ли надоело ему отвечать, то ли заинтересовался он, к чему бы это мне такое количество городов понадобилось, а только перебил он меня и говорит:

- Да вам, собственно, до какого места надо?

Вывалил я тогда вместо ответа ему на подоконник всю наличность двенадцать рублей сорок копеек - и говорю:

- Будьте настолько любезны, докуда этой суммы хватит, дотуда и дайте.

Посмотрел он в таблицу и отвечает:

- Ежели сюда добавить гривенник, то как раз без плацкарты до Баку хватит, а ежели отнять полтинник, то в аккурат с плацкартой до Харькова.

А в Харькове у меня никого и ничегошеньки, а в Баку и подавно, и взял я билет до Харькова, потому что хоть и есть это город Украинской республики, а все же к России ближе.

Загудел паровоз, зашипел, и я в единственном числе, не считая старой мадам да двух абхазцев с кинжалами, поехал в жестком вагоне на север, по Черноморской дороге, которая сползает все время в море.

И, высунувшись в окно, смотрел я на природу, на горы, а также возле станции Лоо, которая вовсе и не станция, а так что-то, видел единственное в свете померанцевое дерево, больше нашего дуба, которое настолько замечательно, что в старое время возле него днем и ночью часовой ходил. Но я подумал, что весной, когда в

цвету, тогда, может, оно и так-сяк, а теперь просто обыкновенное дерево, и на нем грач...

...Вылез я из поезда в Харькове, сделал не торопясь круг по городу и увидел, что действительно хороший город. Только надписи на вывесках малопонятные и речка поперек города дрянь, потому что ее свиньи вброд переходят.

На Пушкинской встретил я картину с планом, под которой была надпись "Харьков через сто лет", на которой, помимо аэропланов в небе и всяких прочих воздушных сообщений, изображена эта самая речка, а на ней пароходы океанского масштаба, - ну, только, по-моему, это просто фантазия и даром инженерам деньги за планы.

И так я дошел до базара, на котором столько крику, сколько в Гаграх тишины, и купил за двугривенный четыре пирожка, сел на бревно и стал раздумывать о своей судьбе.

Конечно, можно было первым делом в редакцию насчет гонорара, но надоело, и вместо этого в голову пришла мне замечательная идея такого направления: а что, если забыть про свою литературную профессию и попробовать прожить до конца лета просто так? Как же я в любом рассказе могу описать путешествия вокруг света с гривенником в кармане, и все как по линейке выйдет, то есть доберется человек до цели не померши и даже с интересными приключениями?

Почему бы мне не попробовать до конца лета этого на практике?

И когда доел я последний пирожок, встал с бревен и тотчас же позабыл про свою литературную профессию, отверг с презрением мысль идти в редакцию, а вместо этого пошел к старьевщику.

Выбрал у него крепкие штаны из мешка и рубаху такого же фасона и предложил ему променять их на мой курортный костюм с условием - пятерка в придачу. Но старьевщик был хитрый, он сразу сообразил, с кем имеет дело, а потому осторожно отвел меня в какой-то куток, дал трешницу и, пока я переодевался, сказал мне предупредительно:

- Ты, парень, берегись... Тут агенты из уголовки то и дело рыскают.

На что я рассмеялся тихонько и нарочно, когда вышел из лачуги, подошел к базарному милиционеру и попросил прикурить.

И потом купил я хлеба два фунта, небольшой мешок, старый солдатский котелок, у которого была маленькая дырочка на доньшке, но зато за двугривенный. Набил полный кисет махорки и, закурив трубку, вышел из города...

Там, где журчит речонка Уды, у зеленых тростников, разбегались во все стороны разные пути, разные дороги.

Постоял я немного и пошел по той, что идет на юг, на Донбасс. С легким сердцем, с легким багажом и без всяких тревог.

А вверху сентябрьским хрусталем висело небо, а внизу земля дышала ароматом сохнувших трав и спелых дынь, а впереди была дорога, длинная и загадочная, как дымка снеговых вершин у долин душного Мцхета, как и всякая другая еще не пройденная дорога.

Дошел я вечером до станции Змиевки, хотел заночевать там, но когда мне сказали, что верстах в пяти впереди есть деревушка - какая, я теперь не помню, - то зашагал я по шпалам, стараясь достигнуть цели раньше, нежели солнце последним краешком спрячется вовсе за край земли.

Но тяжелый красный шар, точно арбуз, подтолкнутый чьей-то ногой, покатился вдруг по облакам и спрятался сразу, оставив меня в темноте угадывать чутьем ширину пространства между разбросанными шпалами.

Прошло не меньше часа ночного пути, а деревушка не попадалась, и я уже решил было свернуть в сторону и заночевать в поле, как вдруг поворот, а за поворотом огонек - близко-близко, совсем возле дороги. Но темнота решила поиздеваться надо мной, и несколько раз я попадал в ямы и залезал в какие-то лужи, шумящие лягушиными криками, прежде чем подняться на горку.

И если бы не палка, то, должно быть, сожрала бы меня вместе с мешком огромная собака, но на собаку кто-то крикнул хриплым басом, и она замолчала, а я подошел к костру и увидел там шалаш из сухих подсолнухов и соломы, а также старика с длинной седой бородой, внимательно, но не враждебно уставившегося на меня.

- Здравствуй, - говорю я ему, - здравствуй, дорогой дедушка. Что здесь поделываешь и чье добро караулишь?

- Сижу я, - отвечает он, - общественным сторожем, а караулю я бахчи с кавунами и дынями от разных бродяг, которые по ночам шляются. И вчерась только одному за это шею накостылял.

И, услышав такой неприятный оборот разговора, вынул я поспешно кисет с табаком, а также отломил кусочек хлеба в кармане и, пока одной рукой предложил старику закурить, другой бросил хлеб собаке, которая ехидно подбиралась к моим пяткам, и ввиду такого моего дипломатичного поведения тотчас же между нами был заключен мир. И спросил меня седебородый старик, завертывая сигарку:

- А кто ты есть за человек и куда путь-дорогу в ночную пору держишь?

А у меня фантазия всегда наготове, и не буду же я вдаваться в психологические мотивы моего путешествия, и говорю я ему искренним тоном:

- Есть я, дедушка, солдат-красноармеец, вышел в бессрочный после службы, а иду я искать счастья-работы, хоть на земле в заводе, хоть под землей в шахте, лишь была бы какая-нибудь, а какая - мне все равно.

И совсем тогда смягчился суровый старик, бросил охапку хвоста в огонь, полез в шалаш, вынул оттуда кусок сала в пять пальцев толщиной и лепешку утрешнюю разрезал, сам стал есть и мне протянул.

А человек я не гордый, взял, что дали, и съел моментально с благодарностью все без остатка.

И лег я у этого старика в шалашике из соломы да сухих подсолнухов, а кругом на всем свете была такая темная тишина, что слышно было даже, как звезды на небе между собой перешушукиваются и где-то далеко, точно за тысячу верст, ревет эхо паровоза. А чего ревет, не знаю.

Сдвинул мне сон брови, и захлопнул я осовевшие глаза. И слышал я сквозь сон, как долго молился богу и бормотал что-то старик, но разобрал я только какие-то молитвенные отрывки за странствующих-путешествующих, а также за всех солдат, которые живы и которые погибли, и за всю Красную Армию.

Подивился я таким странным словам, потому что не знал я в ту минуту, что четыре сына погибли у старика: первый - в германскую, двое красноармейцами, а четвертый, сволочь, к махновцам ушел, и сейчас жив, и ничего ему, проклятому, не сделалось, но только погиб он для старика тоже.

Поднялся я с рассветом, когда еще до солнца далеко-далеко, съел помидорину, только что от земли, попрощался со стариком и пошел дальше.

Сквозь тонкую сетку перепутавшихся туч просвечивало серыми пятнами мертвое небо, и шел от земли холодный пар, а внизу, слева от дороги, раскинулась настоящая украинская деревушка, и вся она была похожа на кучу крепких грибов, выпирающих из чернозема, соломенные крыши - как шляпки березовиков, белые стены - как спелые черенки.

И так я шел и шел до тех пор, пока не забрел в лес, разросшийся по берегам реки Донца. А в стороне от тропки - солнечная зелень и только что высохшая, пересыпанная земляничными разводами и цветами-ромашкой теплая земля. И кинулся я отдыхать в эту роскошную траву - и вскочил моментально с гневным проклятием по адресу всех крапив и прочих змей-трав, которые обманно затесываются в приветливые цветы.

Прошел я еще сорок шагов, а поляна еще лучше, и только хотел я окончательно расположиться, как окликнул {меня} кто-то. Повернул я голову и гляжу: сидят два гражданина, и обоим, должно

быть, по три года за первый десяток перевалило, и костюмы на них верхние почище моего будут, а волосы взъерошены дыбом и пересыпаны остатками соломы от ночлега. И сидят они возле кучки золы и делают мне такое официальное предложение:

- Дай, дядя, табаку-махорки закурить, а мы тебя за это печеной картошкой угостим.

Согласился я на это дельное предложение, сел к ним, а пока они закуривали, стал их рассматривать. Верхние телогрейки - рвань-рванью, а под ними - синие рубашки, по-казенному шитые белыми нитками, а вороты рубашек расстегнуты, и под ними опять такие же синие рубашки, а сколько всего, не знаю.

Смекнул я тогда, в чем дело, и говорю им напрямик:

- А куда вы, соколы, летите, и не иначе вы из какого-нибудь детдома удули и заодно свою и чужую порцию казенного имущества потырили?

- Правильно, - согласился со мной один, тот, что поменьше и побойчее, верно это ты, дорогой дядя, насчет казенного имущества и насчет детдома башкой сообразил, удули мы из этого самого курского детдома, чтоб ему провалиться и всем, кто его выдумал.

И заинтересовался я таким неожиданным пожеланием насчет детдома и стал расспрашивать беглецов про их историю. И все сначала они отмалчивались и не хотели мне никакой истории рассказывать, но потом, когда вынул я к печеной картошке кусок сала, переглянулись они и согласились рассказать все до точки.

Не знаю, наврали, не знаю, правда, но только действительно интересно.

- Знаешь ли ты, что такое ширмач? - спросил меня один из них.

- Ширмач - это который по карманной выгрузке работает. Вот, например, как Лешка.

И он махнул головой на своего соседа, тощего лохматого мальчугана с равнодушно-усталыми глазами и коричневым от налета пыли лицом.

- Так вот он и есть этот ширмач, а я песельник, хотя при случае тоже могу. И были мы с ним в городе Курске на вокзале, когда его один старичок по шеям двинул из-за подозрения, и выгнали тогда нас со станции, а была паскудная осень.

Шли мы с ним по улице, и никто не подает, несмотря на то, что я глотку надорвал пенъем. Тогда мы видим, что дело насчет шамовки плохо, и раздумываем, где бы двугривенный сообразить. Бились этак, бились так, ни черта.

"Постой, - говорит тогда Лешка, - я способ знаю... Плохой только способ, но зато раньше всегда подавали".

"Давай, - говорю я ему, - твой способ!"

Пошли мы к пивной, а возле ее мокрятица и тротуар весь глиной липкой исшаркан. Выходит оттуда человек подвыпивши, а Лешка и предлагает ему: "Дай, дядя, пятак, а я за это через голову кувыркаться буду".

Ну, тот подивился, конечно, какое тут может быть кувыркание по этакой погоде, и дает пятак, а Лешка раз, раз - и готово. Встал, конечно, как аспид измызганный, а тут народ собирается, интересно, как это в эдакое время - и вдруг через голову.

Дали еще гривенник за три раза, потом три копейки ни за что дали. И сколько бы он набрал за представление - должно быть, до рубля бы, а только идет вдруг по улице человек в порядочной одежде и начинает на всех ругаться. "Зачем это вы, такие-то и сякие, несознательные, детей развращаете подаянием? И разве не знаете, что на это есть строгий приказ?"

А сам позвал милиционера. И замели это нас за свою же собственную работу в отделение. Кувыркнулся бы сам, черт проклятый, посмотрел бы тогда, как этот гривенник достается.

Из отделения нас в детдом, повели там в комнату и стали про нас бумаги писать. Кто ты есть такой? Какое у тебя твое печальное происхождение? А также как твой дедушка был насчет водки и еще много всего, сейчас не упомнишь.

Я, как догадливый, наврал, конечно, что все, мол, благополучно, а Лешка возьми, дурак, и расскажи - вор, мол, я, ширмач, потому жрать надо. И был папаша пьяница, а как насчет дедушки, не знаю, но, вероятно, тоже не отказывался.

И из-за этого самого назначили нас в разные отделения, меня просто, а его в группу для малолетних преступников. И наплевать бы, что к преступникам, я и сам просился: "Назначьте тогда, пожалуйста, вместе и меня туда же. Потому что у него, что у меня - почти одинаковая работа". Покачали они головами, посоветовались и говорят промеж себя: "У этого благоприобретенные, а у того наследственные". Так и не назначили.

Потом стали нам науки разные преподавать, только все бесполезные науки: две всего. Приходил к нам человек и каждый день читал нам политическую науку: ску-учная. Лучше б ремесло какое, а тут все про одно и то же, как вот, мол, у нас в России и как у буржуев за границей, а на другой день опять сначала, а потом еще старая мадама приходила и учила нас гимнастическому танцу, как затянет свое: "Р-аз, д-ва, р-аз, д-ва" - и так до тошноты.

Глядим мы, толку-то от нас никакого что-то не выходит. Ну, конечно, кормят ничего - все лучше, чем шататься. Только стал тут слух проходить, что у кого больше 14 годов, того из детдома выметать будут, а как я в анкете наврал, мне всего только одиннадцать выходит, а Лешка, дурак, записался правильно.

Пошел Лешка к заведующему и говорит: "Так, мол, и так, а как ежели меня выкинете, то я без специальности опять на ширму пойду, а потом подрасту и прямо на грабеж".

Ахнул тогда заведующий от этаких слов. Призвал он разных докторов, не знаю, что у них только в башке есть, и составили они запись, что есть он, Лешка, неисправимый человек, и не пошли ему впрок науки - это про политику, значит, да про танцы, а потому направить его в дефективную колонию.

А как узнали мы, что это за дефективная - это, значит, куды одних дураков да круглых идиётов направляют, вроде как сумасшедший дом, так решили мы с Лешкой бежать: он по этой причине, что не согласен быть идиётом, а я заодно.

И так думали убесть и эдак - ничего не выходит. Потом, значит, сообразили: есть у нас два клозета, и один то и дело закрывают, водопровод в нем часто портится. Встали мы это ночью, а двери все, конечно, заперты, пошли в уборную, заперлись изнутри на крючок, а снаружи повесили объявление: "По случаю порчи временно не действует".

А сами принялись за работу. И нам что - спокойно, подойдет кто к двери, торкнется, увидит записку и катится скорей в другую без всякого подозрения, потому дело обычное. Сшелушили мы перочинным ножом замазку, вытащили раму, а другая просто на запоре была, спрыгнули в сад, ну и утекли...

- А одежду, а другие рубашки где взяли? - спросил я.

- Со столов у тех, которые спали, захватили. Им что - новые выдадут.

Он помолчал, потом добавил:

- Нет такого закона, чтобы людей без всякого повода в идиётское отделение приписывать.

Мы поднялись и пошли дальше. Целую неделю мы бродили вместе, и ребята воровали картошку по чужим деревням, и мы варили ее в моем котелке. Оба они были изворотливы, находчивы, и мы сдружились с ними здорово. Но на седьмой день возле Никитовки пути наши разошлись. Они остались на станции, чтобы примоститься к поезду и уехать в Крым, я же пошел дальше, направляясь к шахтам.

Был уже вечер, когда тяжело пыхтящий товарный поезд нагнал меня.

- Эй, эй, дядя! - услышал я приветливый оклик и, приглядевшись, заметил две всклокоченные головы, высывающиеся из перегородки угольного вагона.

Я махнул им рукой, и поезд, скрывшись за поворотом, усилил ход под уклон и быстро умчал двух беспризорников навстречу... навстречу чему - не знаю...

Прошел еще с версту, вышел за кусты и остановился. Горел горизонт электрическими огнями, и огромные, как египетские пирамиды, горы земли, вывезенные из прорытых шахт, молчаливо упирались острыми конусообразными вершинами в небо. А по небу, точно зарево тревожных пожаров, горели отблески пламени раскаленных коксовых печей.

Шахты Донбасса были рядом.

За двадцать семь рублей в месяц я нанялся вагонщиком в шахту. Дали мне брезентовые штаны, рубаху и три жестяных номера - на фонарь, на казармы и личный номер. В два часа следующего дня со второй сменой я вышел на работу. Поднялся на вышку. Там шмелиным гулом жужжала тысячная толпа шахтеров. Подошел к окошку. Штейгер равнодушно вписал мое имя и крикнул десятнику:

- Возьмешь на Косой пласт.

Десятник кивнул головой одному из забойщиков, и тот хмуро сказал мне:

- Пойдешь со мной.

Звякнул сигнал, и бешено завертелись приводные ремни, и из темной пропасти шахтового ствола выплыла двухэтажная клеть. Дождались очереди, залезли, стали плотной грудой, тесно прижавшись друг к другу. Потом протяжный, длинный гудок медного рожка - и клеть рвануло вниз. Почему-то все молчали, клеть стремительно падала, но казалось, что она летит вверх.

Было сыро, было темно, на голову падали капли воды. Первая остановка штольня на трехсотом метре, вторая на четыреста тридцать седьмом, но есть еще и третья. Вылезаем на второй. Тускло светят раскачивающиеся фонарики, и длинной вереницей шахтеры тянутся по изгибам узкой шахты, постепенно теряясь по разным штрекам и квершлагам.

Нас остается трое. Мы прошли уже около двух верст под землей, наконец упираемся в тупик. Остановка.

Забойщик, полуголый, забирается под аршинный пласт и лежит там, как червяк, сдавленный земляными глыбами, и киркой бьет уголь, который по косому скату "печи" летит в штольню. Нас двое, мы лопатами нагружаем вагонетку и везем ее сажен за полтора - там яма. Что это за яма, я не знаю, но я знаю, что когда в нее сваливаешь уголь, то он шумит и с мертвым, глухим стуком катится куда-то вглубь далеко вниз.

- Куда? - спрашиваю своего соседа.

- В коренной нижний штрек, туда сыпается весь уголь со всех штолен, и уже оттуда идет он машиной наверх.

На пятом часу с непривычки у меня заболела спина, хочется курить, но нельзя, хочется пить, но нечего. Везде ручьями бежит

чистая, холодная вода, подошел, пополоскал черные, как у трубочиста, руки, набрал в пригоршню, хлебнул и тотчас же выплюнул с отвращением, потому что кислой тиной стянуло весь рот - вода угольная и пить ее нельзя.

На восьмой час я - не я. Горло пересыпано пудрой черной пыли, сумасшедше гудят по шахтам ветры, но с тела льется и смешивается с угольной грязью крупный пот.

Наконец кончаем. Но и это не все. Для того чтобы подняться наверх, нужно сначала спуститься вниз. Пошли по штольне.

- Стой, - говорит мне забойщик. - Мы пришли.

- Куда пришли? Как пришли?

Я ничего не понимаю, потому что около меня только голые стены и никаких выходов нет. Забойщик подходит к той самой яме, куда я только что ссыпал уголь, и открывает крышку.

- Лезь за мной.

С трудом протискиваюсь в яму. Стенки ее обшиты деревянным тесом. И в ней можно только лежать. Крепко сжимаю лампу и чувствую, как подо мною катится уголь, и сверху катится уголь, засыпается за шею, за рукава, и сам я, почти не сопротивляясь, в темноте стремительно лечу вместе с углем куда-то вниз.

- Держись! - кричит мой спутник.

За что держаться, как держаться, я не знаю, но чувствую, что к чему-то надо быть готовым. Р-раз - вылетаю в нижний штрек. После восьмидесятиметрового стремительного полета встаю измятый и оглушенный падением. Идем дальше. Штольня расширяется, отовсюду тянутся шахтеры, подходим к стволу и ждем очереди. Наконец выбираемся в клеть, опять гудок и сразу вверх.

Выхожу из клетки, шатаюсь, жадные глотки воды и жадная затяжка свернутой сигарки махорки. Спускаюсь, сдаю лампу. На дворе ночь. Долго моюсь в промывочной горячей водой, но, вернувшись в казармы и бросившись на нары, вижу перед собой осколок разбитого зеркала. Смотрю и не узнаю себя: под глазами черные полосы, глаза лихорадочно блестят, лицо матовое, губы подчеркнута красные. Закуривая и откашливаясь, плюю на пол, и из легких вырывается черный угольный плевок.

* * *

Сначала было тяжело. Сколько раз, возвращаясь с работы, я клял себя за глупую затею, но каждый день в два часа упорно возвращался в шахту, и так полтора месяца.

Потом надоело. Стал я худым, глаза, подведенные угольной пылью, как у женщины из ресторана, и в глазах новый блеск - может быть, от рудничного газа, может быть, просто так, от гордости.

Заработал двадцать семь рублей и пошел опять по полям до города Артемовска. Шел днем, шел ночью, а тогда были темные теплые последние ночи отцветающего лета. Взял в Артемовске билет и уехал в Москву.

...Шахты теперь далеко, и всё далеко. Перебирая в памяти все, что прошло, что оставило след в душе после бескрайнего фронта и похоронного марша орудийных гулов, я чаще всего вспоминаю реку Донец, лес, пересыпанный разводами узорчатых цветов. Впрочем, и многое, многое другое тоже вспоминаю. Но разве все разом рассказать!

Край мой, Россия! Родина моя советская, то, что было рождено в грохоте орудийных залпов, то, что было захвачено натиском умирающей атаки, - все наше и все мое. И когда, в минуту глупого сомнения, набегают порой иногда мысль о том, что ехать больше некуда, что все шесть концов, шесть сторон пройдены и пережиты, - так это только минута.

А потом... Видишь тогда, как далеки темные глубины неба, усыпанные огоньками пятиконечных звезд, видишь, как необъятны просторы и как убегают с горизонтом длинные, бесконечные дороги и еще не пережитые и еще не пройденные пути.

И когда меня спросят, что я люблю больше всего, я молчу. Только:

...синее поле с шелестом убегающих трав да под шатром звездной ночи казачье седло, кривую шашку и стальные стремяна. Зарево ли пожаров сжигаемого старого, зарево ли коксовых печей дышащего огнем нового, но все, что в движении, все, что дает сигнал: аллюр два креста... вперед!

"Звезда" (Пермь), 1926, 9, 11, 13 и 14 июля